

Слово о стихах

Стиль, одобренный музой

У российской поэзии, этой бесприютной сироты в стране своей, есть и преданные слуги, и балованные дети



Справка «ММ»

Игорь Варламов родился 1 июля 1964 года в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт и Высшие литературные курсы Литературного института имени А. М. Горького.

Публикуется с 1987 года. Печатался в журналах «Дружба народов», «Уральская новь», «Берег А». Автор книг стихов «Разговор с летучей рыбой» (1998), «Муравьиное зрение» (2007) и книги прозы «Глухие согласные» (2018).

В 2002-2005 годах возглавлял региональную организацию Союза российских писателей в Магнитогорске. В настоящее время живёт в Москве.

Один из её самых преданных жрецов, может, не самых ревностных и старательных, но искренних и трепетных – поэт Игорь Варламов.

Он пишет мало, но ограничивает каждое стихотворение как Данила-мастер. Порою кажется, что цветок при этом несколько камнеет, и всё же это лишь на пользу сочинению. Ведь оно должно прожить долго – а тут, словно

в застывшем янтаре, сохраняются все прожилки и ниточки, крылышки и усики, все паутинки фабулы и философии. Это стиль художника, разработанный им самим и одобренный его высокой музой. Каждым стихотворением, его

музыкой, метафорическим рядом, независимо от смысловых выкладок, Игорь словно восстанавливает прерванную связь – даже не времени, а целых эпох, геологических периодов, связь живых существ, затерянных в этих эпохах.

Видеоряд поэзии Варламова – это целые пласты спрессованного, интегрированного времени

Может, поэтому в его стихах персонажи – или их обозначенья, тени – так легко обретают свойства насекомых, ящериц, птиц, черепах и прочих «братьев меньших». Вот клошары «проклёвываются из картонной яйцекладки», а «пернатый ангел» вьёт гнездо на парижской крыше. Персонажи «хитро щебечут», шарахаются, как стрекозы в трюме... Да и сам лирический герой уверенно парит и садится на карнизы, ползает, дышит «жабрами». И наоборот – флора и фауна вдруг открывают свои человечьи черты: муравей кричит, гусеницы ползают, как брови на лице, насекомые «глухо удивляются» делам человеческим...

Поэт, кажется, осознанно присваивает демонические или ангельские черты то людям, то животным. Причём не в результате поэтического осмысления, а как будто так и было. И образы с их подспудной «полной жизнью» столь цепки и убедительны, что веришь – да, мир именно таков. Поэзия Варламова, объединившая всех этих тварей с их чудачествами и замыслами в незаствывшие могучие пласты строф, по сути дела есть труд эволюциониста, признавшего бесплодность богорочества, увидевшего, что занятие его есть именно искусство, а никакая не наука!

Он словно бросил микроскоп и радиоуглеродное датирование и ринулся по наитию в завалы мироздания

Именно такое чувство не покидает меня во время чтения стихов Игоря Варламова. Это чувство хорошее, честное. А сегодня – в наш хамелеонско-крокодильчиковый мезозой – очень редкое.

✍ Михаил Крупин

Стихи

✍ Игорь Варламов

«Дети нищенских окраин...»

Фалды откинув, сядешь,
сыграешь на фисгармонии
слепого Георга Фридриха Генделя
пассакалию –
такую ж забытую,
как школьный нитрат аммония
или диоксид молибдена
вместе с хлоридом калия.

Память – вещь вообще жестокая
и бестолковая:
ластик пройдёт по лицам,
названиям и событиям.
В чёрном лесу чёрный дом,
а в нём чёрный ларь окованный.
Крышку отвалишь у рундука –
столько всего забытого!

Камзолы, фижмы, шапо-бержер
не тронуты тлением,
да не найдётся уже охотников на них,
по-моему.
Ну же, маэстро,
доведи меня до исступления,
сыграй мне пассакалию Генделя
на фисгармонии.

Не вспомнить дальних мест,
исполненных духа медвяного,
а то, что близко и саднит,
никак не предать забвению.
Не выветрится только правило
про оловянного,
стеклянного да деревянного.
А вот тем не менее

пишу несмело и вяло,
увязая в грамматике.
Вот так и маэстро,
взыскующий небесного кренделя,
никак не подавит в себе
сибарита-флегматика.
Никак не начнет исполняться
пассакалия Генделя.

Что за чудак, что за шутник,
явившись вслед за сквозняком,
разбил под окнами цветник,
прошёл по стёклам босиком?

А я осколки витражом
раскладывал в своём окне.
И в них стократно отражён,
родился кто-то в тишине.

И в час рождения в ночи –
приспел же несусветен срок! –
сгорающий фитиль свечи
чуть было не поджёг пирог.

Я, как простуженный, дрожа,
вращал калейдоскоп окна.
И сквозь стекляшки витража
я видел, как плывет Луна.

И под созвездием Тельца
от продуванья сквозняка
умерших бабочек тельца
летели на пол с потолка.

Твоё-то дело – сторона
подветренная – не до жиру! –
глуха, сонлива и странна,
и растолкать её – не в жилу.

Не всё ль едино – крестный ход,
поминки по усопшим, быт ли,
когда уже который год
как медитации обрыдли,

когда уже который день
как твой забор обили жостью?
А ты, болезный, словно тень,
недужно харкаешься желчью.

Скули! И погулять в кусты
тебя отпустят, как Трезора.
Чему ж так радуешься ты,
равно спасённый от позора?

Ведь, может, выстроив редут
великий, на твоё несчастье,
все зачумлённые придут
к твоим воротам постучаться.

Ты где-то видел этот сон
дурной – ну что за наказание! –
где на тебя со всех сторон
глазуют белыми глазами.

Но, право, причет ни к чему,
и полно крылышками хлопать
по впалым ребрам, потому
что после чувствуешь неловкость

перед лицом дощатым тех,
кто зло подглядывает в щели!
Не достаточно ль потех,
когда шуты осточертели?

Ведь недолюбленный щенок
взрастёт паршивую собакой,
коль благоденствие у ног
гремит пустой консервной банкой.

Мне закон неведом,
почему вовек
по нечётным средам
выпадает снег.

Где звенел хрустально
твой далёкий смех,
сокрывая тайны,
выпадает снег.

И тебе в науку,
на виду у всех
превратись в разлуку,
выпадает снег.

Не найдя участия,
не найти утех.
Чаще вместо счастья
выпадает снег.

И в мороз колючий,
словно белый мех,
выпадает случай,
выпадает снег.

Ни в сеть, ни в клетку, ни на нить
я не хочу тебя ловить,
поскольку надобности нет.
Ни птицелов, ни сердцеед
не вышел, право, из меня
никак до нынешнего дня.

Но как тебя мне приручить,
клевать с ладони приручить?

Слушайте, – вам ветки скажут,
что весной опять запахнут.
Нынче вот холодный август,
и, как я, он в плащ запахнут.

Я немножечко простужен
от прохлады слов стеклянных –
притворяюсь равнодушным,
но просвечиваю явно.

Стыдно мне! – я вас жалею
со злорадностью отравной
и веду вас в глубь аллеи.
Мне не верьте – я лукавый!

Что же я? В молве в избытке
от лукавого наветов.
И паук крестовый ниткой
породнил чужие ветки.

И насколько легкомудро
и наивно наше счастье,
коль так хочется безумно
в паутине покачаться!

Вдоль тенет, где палкой тычет
в гриб последняя старуха,
я, брэнча коробкой спичек,
вас веду. Давайте руку.

ПАРИЖ

1.

Не замечая Бога-невидимку,
пернатый ангел подле дымохода
гнездо сооружает под сурдинку,
должно, для улучшения породы.

Достанет сил сиротствовать –
тогда ты презришь нерасторопную заботу,
уверенный, что тихий Соглядатай
свершает незаметную работу.

Устал во членах,
вывихнут в суставах
кузнечиковых, карликова роста,
я докучаю Эйфелю Гюставу
своим родством,
уродством ли, банкротством.

Свисти, Париж, кичись,
пугай жлобами
своими ражими, –
мы одного помёта, –
покамест кровь
стекает желобами
на сдобренный суглинок
с эшафота.

Присутствие меня на этом месте
не то что злит,
но ближе – верхоглядство:
вон представитель
фауны небесной
не устаёт росой пробавляться.

А здесь консьержка,
горького отвара
хлебнув,
к губам прикладывает палец,
когда вовсю грассируют бульвары,
и заполночь съезжает постоялец.

Простуженная, кутается зябко
и выражает странными словами,
как носится пчела
с медовым взятком
над чьими-то больными головами.

2.

Из дома, где, от жабы задыхаясь,
преставилась
графиня-кружевница
в пять пополудни,
дошлый марокканец
выводит на бульвары
далматинца.

И где-то там, отселе в отдаленье,
откудова земные полушарья
не значимы,
есть только сожаленье
о метрике, сгоревшей на пожаре.

Перемещая запахи и краски,
вечерний город мажет по сусалам,

когда последний поезд
эмигрантский
уходит от Лионского вокзала.

И кажется в угаре полусладком:
вот метрополитен,
вздыхая жабры,
дохнет – и из картонной яйцекладки
испуганно проклюнутся клошары.

Окест дома поставлены кусками
бисквитных пирогов на обозренье,
засим –
нужда лечит кровопусканьем
дебелое моё стихотворенье

про то, как осязаемо и зримо
век протекает старческой слюною
(назвать «река»)
в подножье пилигрима,
блующего к течению спиною.

И эта повседневная картина
с рекой, домами,
швалью неказистой
завернутая в ветхую холстину
хранится в рундуке у букиниста.

Дети нищенских окраин,
беспечальные однако,
вечно мальчишки игрант:
камень, ножницы, бумага.

Золотка, фольга, стеклярус.
Пальцев частое мельканье.
Может, так же забавлялись
мальчик Авель, мальчик Каин.

Правила игры несложной
я не жалу за то, что
и моя судьба – заложник
тех коричневыми ладошек.

Ножницы, бумага, камень –
нет глупее этих правил!
Вырастают дураками
мальчик Каин, мальчик Авель.

Их изводят, тонкошеих,
аденоиды и цыпки,
их не лечат, оглашенных,
ни припарки, ни присыпки.

В тот крошечный околоток
возвращаться мне не надо,
ведь задворкам шлакоблочным
далеко до вертограда.

Но от серенького детства,
по ночам, когда не спится,
никуда уже не деться:
в забыты мелькают спицы,

«велситет», хрустящий гравий,
безголосая дворяня...
Снова мальчишки игрант:
камень, ножницы, бумага.